ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. Е. Салтыков-Щедрин

СКАЗКИ

Школьная библиотека (Детская литература)

Михаил Салтыков-Щедрин

Сказки

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

Салтыков-Щедрин М. Е.

Сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004249-2

В книгу вошли избранные сказки великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина.Для среднего и старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

ISBN 978-5-08-004249-2

© Салтыков-Щедрин М. Е.
© Издательство «Детская литература»

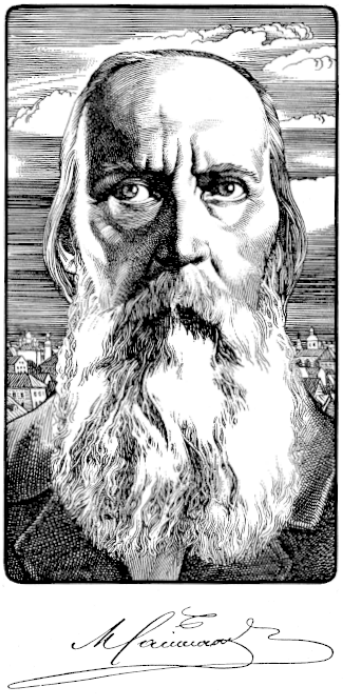
Содержание

«Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина 6
Пропала совесть 17
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 24
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Сказки

© Лебедев Ю. В., составление, вступительная статья, комментарии, 1999
© Бритвин В. Г., иллюстрации, 1999
© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2007

* * *



1826—1889

«Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина

Даже внешний облик М. Е. Салтыкова-Щедрина поражает нас драматическим сочетанием мрачной суровости с затаенной, сдержанной добротой. Острым резцом прошлась по нему жизнь, испещрила глубокими морщинами. Неспроста сатира издревле считалась наиболее трудным видом искусства. «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры… Нет ему равного в стиле – он Бог, – так охарактеризовал Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» удел писателя, касающегося светлых сторон жизни. – Но не таков удел и другая судьба у писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, – всю страшную, потрясающую паутину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных душ… Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стеклы, озирающие солнцы и передающие движение незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, чтобы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделения, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество».

Справедливо заметил Гоголь, что судьба писателя-сатирика во все времена была тернистой. Внешние препятствия в лице вездесущей цензуры заставляли его выражать свои мысли не прямо, а обиняками, с помощью всякого рода иносказаний – эзоповским языком. Но кроме власть предержащих сатира часто вызывала неудовлетворение и у простых читателей, не желающих сосредоточивать внимание на болезненных явлениях жизни, предпочитающих искать в литературных произведениях возвышенные образы и не склонных предаваться волнениям и тревогам по поводу жизненных несовершенств. Писатель-сатирик не льстит своему читателю, заставляет его волей-неволей находить в уродливых сторонах жизни признаки своих собственных несовершенств, пробуждает мирно спящую совесть, доставляет читателю сердечную боль. Поэтому чтение сатирического произведения – не развлечение, а тяжелый духовный труд.

Но главная трудность сатирического творчества заключается в том, что искусство сатиры драматично по своей внутренней природе. Это искусство небезобидное и опасное для самого художника: на протяжении всего творческого пути писатель-сатирик имеет дело с общественным злом, с человеческими пороками, которые держат в мучительном напряжении, утомляют и изматывают его душевные силы. Лишь очень стойкий и сильный человек может выдержать это каждодневное испытание и не ожесточиться, не утратить веры в жизнь, в ее красоту, добро и правду. Вот почему сатира, вошедшая в классику мировой литературы, – явление чрезвычайно редкое. Имена великих сатириков в ней буквально наперечет: Эзоп в Древней Греции, Рабле во Франции, Свифт в Англии, Марк Твен в Америке, а в России – Салтыков-Щедрин.

Высокая сатира возникает лишь на духовном взлете национальной литературы: требуется мощная энергия самоутверждения, стойкая вера в идеал, чтобы удержать напряженную энергию отрицания. Русская литература XIX века, возведенная, по словам Н. Г. Чернышевского, «в достоинство общенационального дела», сосредоточила в себе сильный заряд жизнеутвержде-

ния и создала благоприятную почву для появления в ней великого сатирика. Не случайно Салтыков-Щедрин говорил: «Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями». А Достоевский считал классическую сатиру признаком высокого подъема всех творческих сил национальной жизни: «Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид все свои недостатки и перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине… С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей отрицательной литературе… Сила самоосуждения прежде всего… указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни – предполагает страстную тоску о здоровье». Творчество Салтыкова-Щедрина, открывшего нам и всему миру вековые недуги России, явилось в то же время показателем нашего национального здоровья, неистощимых творческих сил, сдерживаемых и подавляемых, но пробивающих себе дорогу в слове, за которым, по неуклонной логике жизни, рано или поздно приходит черед созидательному делу.

1

Жизненные противоречия с детских лет вошли в духовный мир писателя, формируя в нем будущий сатирический талант. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Отец писателя принадлежал к старинному дворянскому роду Салтыковых, к началу XIX века разорившемуся и оскудевшему. Стремясь поправить пошатнувшееся материальное положение, Евграф Васильевич женился на дочери богатого московского купца Ольге Михайловне Забелиной, властолюбивой и энергичной, бережливой и расчетливой до скопидомства. Она стала фактически главою семьи, полновластной хозяйкой имения, правдами и неправдами приумножавшей его доходность и состоятельность.

Михаил Евграфович не любил вспоминать о своем детстве, а когда это случалось, воспоминания окрашивались неизменной горечью. Под крышей родительского дома ему не суждено было испытать ни поэзии детства, ни семейного тепла и участия. Семейная драма сливалась с драмой общественной. Детство и молодые годы Салтыкова совпали с разгулом агонизирующего, доживающего свой век крепостничества. «Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольною массою – к ним, в тесном смысле, и прилагался этот термин, – но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия (привилегированные и непривилегированные) в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным».

«Столпом и утверждением истины», удержавшим мальчика Салтыкова на краю этого «омута», явилось Евангелие, животворный луч которого произвел в его душе полный жизненный переворот. «Главное, что я почерпнул из Евангелия, – вспоминал Салтыков-Щедрин в автобиографической книге «Пошехонская старина», – заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной неспра-

ведливости, которая ничего не дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления попранного права на участие в жизни. То *свое*, которое внезапно заговорило во мне, напоминало мне, что и *другие* обладают таким же, равносильным *своим*. И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ.

Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания.

В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года… Таким животворным лучом было для меня Евангелие».

Юноша Салтыков получил блестящее по тем временам образование сначала в Дворянском институте в Москве, потом в Царскосельском лицее, где сочинением стихов он стяжал славу «умника» и «второго Пушкина». Тут тоже не обошлось без противоречия: времена лицейского братства студентов и педагогов канули в Лету. «В то время, и в особенности в нашем „заведении“, – вспоминал Салтыков-Щедрин, – вкус к мышлению был вещью мало поощряемою. Высказывать его можно было только втихомолку и под страхом более или менее чувствительных наказаний». Все лицейское воспитание было направлено тогда к одной исключительной цели – «приготовить чиновника».

По окончании Лицея Салтыков определился на службу чиновником Военного ведомства и примкнул к социалистическому кружку М. В. Петрашевского. Этот кружок «инстинктивно прилепился к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас… Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное – все шло оттуда». Учение французских социалистов-утопистов во многом совпадало с «символом веры» Салтыкова, вынесенным из детских и отроческих лет. Достоевский вспоминал, что «зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и цивилизации». В социализме видели «новое откровение», продолжение и развитие основных положений нравственных заповедей Иисуса Христа. Только что прибывший тогда из Саратовской духовной семинарии Чернышевский записал в своем дневнике: «Дочитал нынче утром Фурье. Теперь вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений».

Социалисты-утописты видели бедствие современной цивилизации в вопиющем социальном неравенстве, а выход искали на путях нравственного перевоспитания господствующего сословия в духе христианских заповедей. Недостатком исторического христианства они считали пассивное отношение к общественному злу и хотели придать христианскому вероучению активный, действенный характер. Усвоение христианских истин заставит богатых поделиться с бедными частью своих богатств – и в мире наступит социальная гармония. При этом социалисты упускали главный догмат христианства – грехопадение человека, помраченность его природы первородным грехом. Они считали, напротив, что человек по своей природе добр, а зло заключается в искаженном общественным неравенством социальном устройстве.

Именно здесь Салтыков обнаружил зерно противоречия, из которого выросло впоследствии могучее дерево его сатиры. Он заметил уже тогда, что члены социалистического кружка слишком прекраснодушны в своих мечтаниях. В повести «Противоречия» (1847) Салтыков заставил своего героя Нагибина мучительно биться над разгадкой «необъяснимого феникса» – русской действительности, искать выхода из противоречия между идеалами утопического

социализма и реальной жизнью, идущей вразрез с этими идеалами. Герою второй повести «Запутанное дело» (1848) Мичулину тоже бросается в глаза несовершенство всех общественных отношений, он также пытается найти выход из противоречий между идеалом и действительностью, найти живое практическое дело, позволяющее изменить к лучшему окружающую жизнь. Здесь определились характерные особенности духовного облика Салтыкова: нежелание замыкаться в отвлеченных мечтах, нетерпеливая жажда немедленного практического результата от тех идеалов, в которые он уверовал. Убежденный в святости заповеди Спасителя «вера без дела мертва есть», Салтыков, подобно Лескову, Толстому и Достоевскому, полагает, что само христианство было бы тщетным и бесполезным, если бы оно не содействовало умножению в людях добра, правды и мира.

Обе повести были опубликованы в журнале «Отечественные записки», но принесли они Салтыкову не славу, не литературный успех… В феврале 1848 года началась революция во Франции. Под влиянием известий из Парижа в конце февраля в Петербурге был организован негласный комитет с целью «рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы». Правительственный комитет не мог не заметить в повестях молодого чиновника канцелярии Военного ведомства «вредного направления» и «стремления к распространению революционных идей, уже потрясших всю Западную Европу». В ночь с 21 на 22 апреля 1848 года Салтыков был арестован, а шесть дней спустя в сопровождении жандармов отправлен в далекую и глухую по тем временам Вятку.

Христианский социализм в течение многих лет носил мундир провинциального чиновника губернского правления, на собственном жизненном опыте ощущая драматический разрыв между идеалом и реальностью. «Молодой энтузиазм, политические идеалы, великая драма на Западе и… почтовый колокольчик, Вятка, губернское правление… Вот мотивы, сразу, с первых шагов литературной карьеры овладевшие Щедриным, определившие его юмор, его отношение к русской жизни», – писал В. Г. Короленко.

Но суровая семилетняя школа провинциальной жизни явилась для Салтыкова-сатирика плодотворной и действенной. Она способствовала преодолению отвлеченного, книжного отношения к жизни, она укрепила и углубила демократические симпатии писателя, его веру в русский народ и его историю. Салтыков впервые открыл для себя низовую, уездную Русь, познакомился с жизнью мелкого провинциального чиновничества, купечества, крестьянства, рабочих Приуралья, окунулся в животворную для писателя «стихию достолюбезного народного говора». Служебная практика по организации в Вятке сельскохозяйственной выставки, изучение дел о расколе в Волго-Вятском крае приобщили Салтыкова-Щедрина к устному народному творчеству, к глубинам народной религиозности. «Я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни», – вспоминал писатель о вятских впечатлениях.

С демократических позиций взглянул теперь Салтыков и на государственную систему России. Он пришел к выводу, что «центральная власть, как бы ни была она просвещенна, не может обнять все подробности жизни великого народа; когда она хочет своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается в бесплодных усилиях». Главное неудобство чрезмерной централизации в том, что она «стирает все личности, составляющие государство <…>. Вмешиваясь во все мелочные отправления народной жизни, принимая на себя регламентацию частных интересов, правительство тем самым как бы освобождает граждан от всякой самобытной деятельности» и самого себя ставит под удар, так как «делается ответственным за все, делается причиной всех зол и порождает к себе ненависть». «Истощаясь в бесплодных усилиях», такая власть приводит к появлению «массы чиновников, чуждых населению и по духу, и по стремлениям, не связанных с ним никакими общими интересами, бессильных на добро, но в области зла являющихся страшной, разъедающей силой».

Так образуется порочный круг: самодержавие убивает всякую народную инициативу, искусственно сдерживает гражданское развитие народа, держит его в «младенческой незрелости», а эта незрелость, в свою очередь, оправдывает и поддерживает бюрократическую централизацию. «Рано или поздно народ разобьет это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его». Но что делать сейчас? Как бороться с антинародной сущностью государственной системы в условиях пассивности и гражданской неразвитости самого народа?

Салтыков приходит к мысли, что единственный выход из создавшейся ситуации для современного человека – «честная служба», практика «либерализма в самом капище антилиберализма». В «Губернских очерках» (1856–1857), ставших художественным итогом вятской ссылки, такую теорию исповедует вымышленный герой, надворный советник Щедрин, от лица которого ведется повествование и который отныне станет «двойником» Салтыкова. Общественный подъем 1860-х годов дает Салтыкову уверенность, что «честная служба» христианского социалиста Щедрина способна подтолкнуть общество к радикальным переменам, что единичное добро может принести заметные плоды, если носитель этого добра держит в уме возвышенный и благородный общественный идеал.

Вот почему и после освобождения из «вятского плена» Салтыков-Щедрин продолжает (с кратковременным перерывом в 1862–1864 годах) государственную службу сначала в Министерстве внутренних дел, а затем в должности рязанского и тверского вице-губернатора, снискав в бюрократических кругах кличку «вице-Робеспьера». В 1864–1868 годах он служит председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. Административная практика открывает перед ним самые потаенные стороны бюрократической власти, весь скрытый от внешнего наблюдения ее механизм. Одновременно Салтыков-Щедрин много работает, публикуя свои сатирические произведения в журнале Некрасова «Современник». Постепенно он изживает веру в перспективы «честной службы», которая все более и более превращается в «бесцельную каплю добра в море бюрократического произвола». В 1869 году он навсегда оставляет государственную службу и становится членом редколлегии обновленного Некрасовым после закрытия «Современника» журнала «Отечественные записки».

2

Над книгой «Сказок» Салтыков-Щедрин работал с 1882 по 1886 год. Это итоговое произведение писателя: в него вошли все основные сатирические темы и мотивы его творчества. Хотя «Сказки» включают в свой состав серию произведений, книга не является простым сборником: между отдельными сказками устанавливается довольно плотная и разветвленная художественная взаимосвязь. Целостность книги поддерживается своеобразным художественным «обрамлением» ее. Вторая сказка цикла «Пропала совесть» перекликается с последней, завершающей всю книгу «Рождественской сказкой». В обеих речь идет о драме человеческой совести, сюжет первой сказки органически переходит в сюжет последней. «Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болесть* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее – все, казалось, так и отдавалось им в руки, – им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести… <…> Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили

воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось всеобщее разорение».

Отныне истерзанная, заплеванная, затоптанная ногами пешеходов совесть никому стала не нужна. Совесть причиняет боль – люди перебрасывают ее друг от друга, как негодную ветошь. «И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук… «За что вы меня тираните! – жаловалась бедная совесть, – за что вы мной, будто отымалкой какой, помыкаете?» – «Что же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна?» – спросил в свою очередь мещанишка. «А вот что, – отвечала совесть, – отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты предо мной его сердце чистое и схорони меня в нем!»

В «Рождественской сказке» девяти летний мальчик Сережа Русланцев слушает праздничную проповедь сельского батюшки о евангельской заповеди: «Прежде всего люби Бога и затем люби ближнего, как самого себя. Заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни». И вот Сережа решает жить по правде, на каждом шагу сталкиваясь с тем, как эта правда попирается самыми родными и близкими ему людьми. В ответ на тревоги матери батюшка говорит, что это пройдет: поговорит и забудет. «Нет, не забуду! – настаивал Сережа, – вы сами давеча говорили, что нужно по правде жить… в церкви говорили!» – «На то и церковь установлена, чтобы в ней о правде возвещать…» – «В церкви? А жить?» За недоуменным вопросом мальчика – главный вопрос всей жизни Салтыкова-Щедрина: что нужно сделать, чтобы великие идеалы Спасителя входили в жизнь, исцеляли, одухотворяли и облагораживали человеческие сердца? Сказка завершается трагически: измученный противоречиями между высокой правдой и реальной жизнью взрослых людей Сережа Русланцев внезапно заболевает.

«К ночи началась агония. В восемь часов вечера взошел полный месяц, и так как гардины на окнах, по оплошности, не были спущены, то на стене образовалось большое светлое пятно. Сережа приподнялся и протянул к нему руки. „Мама! – лепетал он, – смотри! Весь в белом… это Христос… это Правда… За ним… к нему…“ Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул и умер. Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось».

Тема христианской совести, евангельской Правды является ведущей в книге, она связывает отдельные сказки, в нее включенные, в единое художественное полотно. Внутренние связи между разными сюжетами сказок в сборнике Щедрина многообразны. В большом цикле существует множество «микроциклов»: единым сюжетным движением связаны между собою сказки о рыбах, сказки о зайцах, своеобразное изменение претерпевает в книге тема волчьего хищничества от «Самоотверженного зайца» к сказке «Бедный волк». «Сказки» Салтыкова-Щедрина подключаются к жанровой традиции «Записок охотника» Тургенева, «Севастопольских рассказов» Толстого, «Записок из мертвого дома» Достоевского – произведений, в которых отдельные очерки выступают в качестве фрагментов целого, художественных деталей, образная емкость которых неизмеримо возрастает в системе эстетической взаимосвязи с другими произведениями, входящими в цикл.

Мотивы сказочной фантастики встречались и в предшествующем творчестве Салтыкова-Щедрина. Но именно в 1880-е годы они стали у него ведущими. Обращение сатирика к сказочному жанру продиктовано внутренней эволюцией его творчества. В эти годы сатира Щедрина принимает все более эпический характер, стремится взлететь над злобой дня к предельно широким и емким художественным обобщениям. Сказка помогала сатирику укрупнить масштаб изображения, придать сатире вселенский размах, увидеть за русской жизнью жизнь всего человечества, за русским миром – мир в его общечеловеческих пределах. И достига-

лась эта «всемирность» путем врастания в «народную почву», которую писатель считал «единственно плодотворной» для сатиры.

В основе сатирической фантазии итоговой книги Щедрина лежат народные сказки о животных. Писатель использует готовое, отточенное вековой народной мудростью содержание, освобождающее от необходимости развернутых мотивировок и характеристик. В сказках каждое животное наделено особыми качествами характера: волк жаден и жесток, лиса коварна и хитра, заяц труслив, щука хищна и прожорлива, осел беспросветно туп, медведь глуповат, неуклюж и добродушен. Это на руку сатире, которая по природе своей чуждается подробностей, изображает жизнь в наиболее резких ее проявлениях, преувеличенных и укрупненных. Поэтому сказочный тип мышления органически соответствует самой сути сатирической типизации. Не случайно среди народных сказок о животных тоже встречаются сказки сатирические: «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» – яркая народная сатира на суд и судопроизводство, «О щуке зубастой» – сказка, мотивы которой Щедрин использовал в «Премудром пискаре» и «Карасе-идеалисте».

Заимствуя у народа готовые сказочные сюжеты и образы, Щедрин развивает заложенное в них сатирическое содержание. А фантастическая форма является для него надежным способом эзоповского языка, в то же время понятным и доступным самым широким демократическим слоям русского общества. С появлением сказок существенно изменяется сам адресат щедринской сатиры: писатель обращается теперь не только к интеллигенции, но и к народу.

3

Условно все сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре группы: сатира на правительственные круги и господствующее сословие; сатира на либеральную интеллигенцию; сказки о народе; сказки, обличающие эгоистическую мораль и утверждающие христианские идеалы.

К первой группе сказок можно отнести: «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Дикий помещик» и «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В сказке «Медведь на воеводстве» развертывается беспощадная критика самовластия в любых его формах. Рассказывается о царствовании в лесу трех воевод-медведей, разных по характеру, – злого сменяет ретивый, а ретивого – добрый. Но эти перемены никак не отражаются на общем состоянии лесной жизни. Не случайно про Топтыгина 1-го в сказке говорится: «…он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина». Зло заключается не в частных злоупотреблениях, связанных с характерами разных воевод, а в «медвежьей» природе власти. Оно и совершается с каким-то наивным звериным простодушием и дуроломством. Стал, например, Топтыгин 1-й «корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения». А когда Топтыгин 2-й собирался на воеводство, «главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет <…>. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают».

Салтыков-Щедрин извлекает здесь сатирический эффект, включая в фантастическую атмосферу сказки реальные факты из жизни государства Российского. М. Л. Магницкий – попечитель Казанского второго учебного округа, консервативного периода эпохи царствования Александра I, – предлагал закрыть Казанский университет за «безбожное направление» преподавания и даже разрушить само здание университета. Было уволено более одиннадцати

профессоров, разорена библиотека, из которой изъяли все, что, по мнению Магницкого, отличалось вольномыслием.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» – остроумный русский вариант «робинзонады». Два генерала, оказавшись на необитаемом острове, лишь доводят до логического конца «людоедские» принципы своей жизни, приступая к взаимному поеданию. Только мужик оказывается у Щедрина первоосновой и источником жизни, подлинным Робинзоном. На фоне одичавших генералов он выглядит богатырем. Поэтизируются его ловкость и находчивость, чуткость к земле-кормилице. Но здесь же с горькой иронией сатирик говорит о крестьянской привычке повиновения. Вскрывается противоречие между потенциальной силой и гражданской пассивностью мужика. Он сам вьет генералам веревку, которой они привязывают его к дереву, чтобы он не убежал. Узел всех драматических переживаний сатирика – в этом неразрешимом пока противоречии. В сказке «Дикий помещик» глупый дворянин, начитавшийся крепостнических статей из газеты «Весть», приступает к искоренению мужиков. «Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил их так, что некуда носа высунуть…» И взмолились мужики: «Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Внял Бог мужицкой слезной просьбе: поднялся над поместьем «мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки». Возрадовался помещик чистоте воздуха, подумал: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!» Но русского Робинзона из него тоже не получилось: он одичал. «Весь он, с головы до ног, оброс волосами, точно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем». В обеих сказках Щедрин оставляет господ предоставленными самим себе, свободными от своих кормильцев и слуг. И вот перед такими «освобожденными» господами открывается один-единственный в их положении путь – путь полного одичания.

Беспримерная сатира на русскую интеллигенцию развернута в сказках о рыбах и зайцах. В «Самоотверженном зайце» воспроизводится особый тип трусости: заяц труслив, но это не главная его черта. Главное – в другом: «Не могу, волк не велел». Волк отложил съедение зайца на неопределенный срок, оставил его под кустом сидеть, а потом разрешил даже отлучиться на свидание с невестою. Что же руководило зайцем, когда он обрек себя добровольно на «сидение» и будущее «съедение»? Трусость? Нет, не совсем: с точки зрения зайца – глубокое благородство и честность, ведь он волку слово дал! Но источником этого «благородства» оказывается возведенная в принцип привычка к покорности – самоотверженная трусость! Правда, есть у зайца и некий тайный расчет: восхитится волк его благородством да вдруг и помилует.

Помилует ли волк? На этот вопрос отвечает другая сказка – «Бедный волк». Волк не по своей воле жесток, а «комплекция у него каверзная»: ничего, кроме мясного, есть не может. Так в книге зреет мысль сатирика о тщетности надежд на милосердие и великодушие сильных мира сего, – надежд, которые питало в годы его юности целое поколение молодежи, разделявшей учение французских социалистов-утопистов. В «Сказках» Салтыков-Щедрин приближается к истине христианского догмата о первородной греховности самой человеческой природы. Образ жизни и поведения людей, стоящих у власти, занимающих в обществе господствующее положение, наиболее откровенно обнажает эту «зоологическую», прирожденную порочность.

Есть ли выход из создавшегося положения? Как смягчить овладевающий человеком и человечеством звериный, «зоологический» инстинкт? «Здравомысленный заяц», в отличие от «зайца самоотверженного», – теоретик, проповедующий идею смягчения, «цивилизации волчьей трапезы». Он разрабатывает проект «разумного» поедания зайцев: надо, чтобы волки не сразу зайцев резали, а только бы часть шкурки с них сдирали, так что спустя некоторое

время заяц другую бы мог представить. Этот «проект» – пародия Щедрина на теории либеральных народников, которые в эпоху 1880-х годов перешли к проповеди «малых дел», постепенных уступок, мелкого реформизма. «Здравомысленный» заяц, в отличие от «самоотверженного», – проповедник своих теоретических принципов. Такой же проповедницей оказывается *вяленая вобла* по отношению к *премудрому пискарю.* Премудрый пискарь, «просвещенный, умеренно-либеральный», «твердо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил…» Вырыл он себе глубокую нору, забрался в нее – «и начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал, и умирал – дрожал». Вяленая вобла переводит такую жизненную практику в теорию, которая сводится к формуле: «Уши выше лба не растут». Из этой формулы она выводит следующие принципы: «Ты никого не тронешь – и тебя никто не тронет», «Тише едешь – дальше будешь», «Поспешишь – людей насмешишь». «А главное, – твердила она, – чтобы никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» С проповедью вяленой воблы началась эпоха поголовного освобождения людей от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести. Но пришел срок – и проповедовавшая «умеренность и аккуратность» вяленая вобла попала в разряд неблагонадежных и стала жертвою «ежовых рукавиц».

Подытоживает щедринское обличение либерализма сказка «Либерал», в которой даются отточенные сатирические определения трем стадиям либерального разложения и упадка. Начинает либерализм с требования «по возможности», затем переходит к принципу «хоть что-нибудь», а завершает свой путь позорным «применительно к подлости».

К сказкам о либералах примыкает «Карась-идеалист». Эта сказка отличается грустной сатирической тональностью. Щедрин развенчивает в ней заблуждения русской и западноевропейской интеллигенции, примыкающей к утопическому социализму. Карась-идеалист исповедует высокие, христиански окрашенные социалистические идеалы. Он склонен к самопожертвованию ради их осуществления. «Не верю, – говорил он, – чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастие – не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!» На что тронутый скептицизмом колючий ерш иронизировал: «Дожидайся!» Но карась считал социальное зло простым заблуждением умов и утверждал, что и щуки к добру не глухи. «Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! – ораторствовал он, – чтобы каждая за всех, а все за каждую – вот тогда настоящая гармония осуществится!»

И вот карась развивает перед щукой свои социалистические утопии. Два раза ему удается побеседовать с хищницей, отделываясь небольшими телесными повреждениями. А на третий раз случается неизбежное. «…Карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке: узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уже заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши, каковы!»

Щуки машинально проглатывают карасей! Этой деталью Щедрин подчеркивает, что дело не в «злых» и «неразумных» щуках: сама природа хищников такова, что они проглатывают карасей непроизвольно, – у них, как и у волков, тоже «комплекция каверзная». Но трагедия карася-идеалиста заключается не только в его прекраснодушии. В сказке есть еще и другой горький мотив, связанный с его одиночеством. Не только хищные щуки, но и все мирные рыбы равнодушны к его проповеди: они лишены чувства собственного достоинства и предпочитают

находиться в рабской зависимости от прожорливых щук. «Вот кабы все рыбы между собой согласились…» – не раз начинал, но не договаривал свою мысль карась.

Через все щедринские сказки проходит мотив вековой покорности, гражданской незрелости и пассивности народа. С особой силой он звучит в сказке «Коняга». Загнанный крестьянский коняга – символ народной жизни. «Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб». В основе конфликта сказки лежит народная пословица о «пустоплясах», изнеженных барских лошадях, – «Рабочий конь на соломе, пустопляс – на овсе». Народ вкладывал в пословицу широкий смысл: речь шла о голодных кормильцах-тружениках и о сытых бездельниках, паразитирующих на тяжелом народном труде. В сказке ставится вопрос: где выход? И дается ответ: в самом коняге. Окружающие его пустоплясы могут сколько угодно спорить о его мудрости, трудолюбии, здравом смысле, но споры эти кончаются всякий раз, когда они проголодаются и начнут кричать дружным хором: «Н-но, каторжный, н-но!»

Драматические раздумья Салтыкова-Щедрина о противоречиях народной жизни достигают кульминации в сказке «Кисель». Сначала ели кисель господа, «и сами наелись, и гостей употчевали», а потом уехали «на теплые воды гулять». Кисель же свиньям подарили. «Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла». Смысл иносказания очевиден: сначала господа-помещики доводили народ до разорения, а потом им на помощь пришли прожорливые буржуа. Но что же народ? Как ведет он себя в процессе его пожирания? «Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели». Даже еще радовался: «Стало быть, я хорош, коли господа меня так любят!»

Под стать карасю-идеалисту в условиях народного безгласия оказывается судьба пошехонского литератора Крамольникова в глубоко личной, автобиографической сказке Щедрина «Приключение с Крамольниковым». Вера в действенную, преобразующую мир силу художественного слова была источником духовной мощи нашей классической литературы, но одновременно и причиной неизбывного ее драматизма. Вера эта на протяжении всего XIX века подвергалась таким испытаниям, которые нередко приводили русских писателей к глубоким сомнениям. Эту драму пережил в 1840-х годах Н. В. Гоголь, в 1870-х – Л. Н. Толстой, а в 1880-е годы ее ощутил и Салтыков-Щедрин. Литератор Крамольников на закате дней вдруг почувствовал потерю той «лучистой силы, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других». Разочарование в обновляющей и духовно просветляющей мир силе искусства привело его к горьким сомнениям и упрекам: «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими отвлеченно?.. Все, против чего ты протестовал, – все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста. Твой труд был бесплоден».

Но и в этих сомнениях оставалась неизменной любовь писателя к своей стране и своему народу. Достоевский сказал однажды, что Православие и есть наш русский социализм. С удивительной проникновенностью показывает Щедрин внутреннее родство социалистической морали с глубинными основами христианской народной культуры в сказке «Христова ночь». Пасхальная ночь. Тоскливый северный пейзаж. На всем печать сиротливости, все сковано молчанием, беспомощно, безмолвно и задавлено какой-то грозной кабалой… Но раздается звон колоколов, загораются бесчисленные огни, золотящие шпили церквей, – и мир оживает. Тянутся по дорогам вереницы деревенского люда, подавленного, нищего. Поодаль идут богачи, кулаки – властелины деревни. Все исчезают вдали проселка, и вновь наступает тишина, но какая-то чуткая, напряженная… И точно. Не успел заалеть восток, как свершается чудо: сходит на землю Иисус Христос судить людей праведным судом. «Мир вам!» – говорит Христос нищему люду, который не утратил веры в торжество правды. И Спаситель говорит, что

близок час народного освобождения. Затем Христос обращается к толпе богатеев, мироедов, кулаков. Он клеймит их словом порицания и открывает перед ними путь спасения – *это суд их совести, мучительный, но справедливый*. И только предателям нет спасения. Христос проклинает их и обрекает на вечное странствие.

В сказке «Христова ночь» Щедрин исповедует народную веру в торжество правды и добра. Христос у него вершит Страшный суд не в загробном мире, а на земле, в согласии с крестьянскими представлениями, заземлявшими христианские идеалы. Несмотря на все сомнения и противоречия, неизменной оставалась вера Салтыкова-Щедрина в свой народ и в свою историю. «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России, – писал Щедрин. – Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России». Эти слова можно считать эпиграфом ко всему творчеству сатирика, гнев и презрение которого рождались из суровой и требовательной любви к Родине, из выстраданной веры в ее творческие силы, одним из ярчайших проявлений которых была русская литература.

Ю. В. Лебедев

Пропала совесть

Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болесть* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее – все, казалось, так и отдавалось им в руки, – им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.

Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг… ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось всеобщее разорение.

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик.

И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд…

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает; он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? – все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание – да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее?

Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход – выход бесплодного самообвинения.

И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино.

– Батюшки! не могу… несносно! – криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая из всех горестей, – это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она – настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец.

«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» – думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близ стоящий хожалый*[1].

– Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! – говорит он ему, грозя пальцем, – у меня, брат, и в части за это посидеть недолго!

Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента*; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою.

«Эге! – вспомнил он, – да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»

Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.

– Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, – говори пропало! никакого дела не будет и быть не может! – рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.

– А ведь куда скверно спаивать бедный народ! – шептала проснувшаяся совесть.

– Жена! Арина Ивановна! – вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!»

«И за что я, через этого подлеца, в одну минуту всего лишиться должен?» – думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его.

Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних, не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастья для бедного человека.

– Коли бы ты одну рюмочку выпил – это так! это даже пользительно! – говорил он сквозь слезы, – а то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было сто лозанов*! Так вот ты и подумай,

[1] Слова, помеченные звездочкой, см. в комментариях в конце книги. – *Ред.*

милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить!

– Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! – говорили ему изумленные посетители.

– Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! – отвечал Прохорыч, – ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил!

Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявили согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.

– Вот так патент! – не без злобы прибавлял Прохорыч.

– Что ж ты теперь делать будешь? – спрашивали его посетители.

– Теперича я полагаю так: остается мне одно – помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что же мне теперича делать, кроме как помереть?

– Резон! – смеялись над ним посетители.

– Я даже так теперь думаю, – продолжал Прохорыч, – всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть!

– Только смей у меня! – вступилась наконец Арина Ивановна, сердце которой, по-видимому, не коснулась благодать, внезапно осенившая Прохорыча, – ишь добродетель какая выискалась!

Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил, все говорил.

– Потому, – говорил он, – что ежели уж с кем это несчастие случилось, тот так несчастным и должен быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец или купец, заключить не смеет. Потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать: «Несчастный я человек в сем мире – и больше ничего».

Таким образом, в философических упражнениях прошел целый день, и хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне:

– Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть!

И действительно, он как лег, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел.

Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошеной гостьи. Скрепя сердце, она переждала ночь, но как только в запыленные окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базарный день: из соседних деревень уже тянулись мужики с возами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспешающего Ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним, и едва успела поравняться, как сейчас же, с изумительной ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто.

Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий*, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а *устремительный.* Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный.

И вдруг этого самого человека начало коробить.

Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там ни наставлено, и на возах, и на рундуках, и в лавках, – все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я, не во сне ли все это мне представляется?» Подошел к одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не поднимается; подошел к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти – о, ужас! длани не простираются!

Испугался.

«Что это со мной нынче сделалось? – думает Ловец, – ведь этаким манером, пожалуй, и напредки все дело себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, домой?»

Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая живность, разостланы всякие материи, и все это как будто говорит: «Вот и близок локоть, да не укусишь!»

А мужики между тем осмелились: видя, что человек очумел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки шутить, стали Ловца Фофаном Фофанычем звать.

– Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! – решил Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой.

Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждет, думает: «Сколько-то мне супруг мой любезный нынче кульков принесет?» И вдруг – ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца.

– Куда кульки девал? – спрашивает она его.

– Перед лицом моей совести свидетельствуюсь… – начал было Ловец.

– Где у тебя кульки, тебя спрашивают?

– Перед лицом моей совести свидетельствуюсь… – вновь повторил Ловец.

– Ну, так и обедай своею совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда! – решила Ловчиха.

Понурил Ловец голову, потому что знал, что Ловчихино слово твердое. Снял он с себя пальто – и вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть осталась, вместе с пальто, на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а всё его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загребать.

– Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! – сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар.

Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделалось: один, без пальто, – бесстыжий, загребистый и лапистый; другой, в пальто, – застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от намерения своего идти на базар не отказался. «Авось-либо, – думает, – превозмогу».

Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который из-за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтоб на чужие кульки засматриваться; свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги.

– Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! – говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету.

– Это за что же, Фофан Фофаныч?

– А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Христа ради!

– Ну, Бог тебя простит!

Таким образом обошел он весь базар и роздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался.

– Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась, – опять сказал он сам себе, – пойду-ка я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем Бог послал!

Сказано – сделано: набрал он нищих видимо-невидимо и привел их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково таково сказал:

– Вот, Федосьюшка, те самые странние люди*, которых ты просила меня привести: покорми их, ради Христа!

Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со всего города сбита! Видит и не понимает: «Зачем? неужто всю эту уйму сечь предстоит?»

– Что за народ? – выбежал он на двор в исступлении.

– Как что за народ? это всё странние люди, которых ты накормить велел! – огрызнулась Ловчиха.

– Гнать их! в шею! вот так! – закричал он не своим голосом и, как сумасшедший, бросился опять в дом.

Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все думал, что такое с ним сталось? Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного долга просто лев, и вдруг сделался тряпицею!

– Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что после целым годом поправить нельзя будет! – взмолился он.

Видит и Ловчиха, что Ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: «А посмотрю-ка я у него в пальто; может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь грошики?» Обшарила один карман – нашла пустой кошелек; обшарила другой карман – нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку – так и ахнула!

– Так вот он нынче на какие штуки пустился! – сказала она себе, – совесть в кармане завел!

И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть, чтоб она того человека не вконец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а ныне финансиста и железнодорожного изобретателя*, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцского.

– У этого, по крайности, шея толста! – решила она, – может быть, и побьется малое дело, а выдержит!

Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нем адрес Бржоцского и опустила в почтовый ящик.

– Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар, – сказала она мужу, воротившись домой.

Самуил Давыдович Бржоцский сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции.

– А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег будет? – спрашивал он.

– А какой процент: простой или слозный? – спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч.

– Разумеется, папаса, слозный!

– Если слозный и с уценением дробей, то будет сорок пять рублей и семьдесят девять копеек!

– Так я, папаса, отдам!

– Отдай, мой друг, только надо благонадезный залог брать!

С другой стороны сидел Иосель Самуилович, мальчик лет семи, и тоже решал в уме своем задачу: летело стадо гусей; далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые взаимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери.

Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо.

Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях.

– И сто зе это такое! и зацем мне эта вессь! – завопил он, трясясь всем телом.

Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно.

Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился.

– Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи меня, Лия! – уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов, – и если я буду спрасивать скатулку – ни-ни! пусть луци умру!

Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение.

Задумано – сделано. Самуил Давыдыч осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу.

– Зелаю, васе превосходительство, позертвование сделать! – сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом.

– Что же-с! это похвально! – отвечал генерал, – я всегда это знал, что вы… как еврей… и по закону Давидову… Плясаше-играше… так, кажется?*

Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы, или кто другой.

– Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе превосходительство! – заспешил Самуил Давыдыч, уже совсем обегченный, – только с виду мы евреи, а в дусе совсем-совсем русские!

– Благодарю! – сказал генерал, – об одном сожалею… как христианин… отчего бы вам, например?.. а?..*

– Васе превосходительство… мы только с виду… поверьте цести, только с виду!

– Однако?

– Васе превосходительство!

– Ну, ну, ну! Христос с вами!

Самуил Давыдыч полетел домой словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всеобщему уязвлению*, что на другой день все так и ахнули, как узнали.

И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук.

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться.

– За что вы меня тираните! – жаловалась бедная совесть, – за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете?

– Что же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? – спросил в свою очередь мещанинишка.

– А вот что, – отвечала совесть, – отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет – не погнушается.

По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть.

Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что же это такое! где мы! – вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

– Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы, – ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов* учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой рыбки да на Подьяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уже дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

– Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как все это сделать?

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии*, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали они оба разом, – ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Странный вы человек, ваше превосходительство, но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

– Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужин – и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Как так?

– Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся…

– Тогда что ж?

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

– Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву* на этом волшебном празднике. Тут была и „шекснинская стерлядь золотая“, и питомец лесов кавказских – фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

– Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же… мужика?

– Ну, да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

– Спишь, лежебок! – накинулись они на него, – небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.